

После этого эпизода я начал внимательно наблюдать за собой и этим странным параличом своих чувств, как больной наблюдает за своей болезнью. Когда вскоре после этого умер мой друг и я последовал за его гробом в могилу, я прислушался к себе, чтобы понять, не испытываю ли я горя, не шевельнулось ли во мне какое-то чувство при осознании того, что этот человек, который был близок мне с детства, теперь потерян для меня навсегда. Но ничто не шевелилось, я чувствовал себя так, словно был сделан из стекла, а внешний мир сиял прямо сквозь меня и никогда не задерживался внутри, и как бы я ни старался в этом и многих подобных случаях что-то почувствовать, как бы я ни старался, с помощью разумных аргументов, заставить себя чувствовать эмоции, никакого ответа не последовало из моего застывшего состояния ума. Люди расставались со мной, женщины приходили и уходили, и я чувствовал себя почти как мужчина, сидящий в комнате, где дождь барабанит по оконным стеклам; между мной и моим ближайшим окружением было что-то вроде листа стекла, и моя воля была недостаточно сильна, чтобы разбить его.

Хотя я ясно это чувствовал, осознание этого не вызвало у меня особого беспокойства, ибо, как я уже сказал, я равнодушно относился даже к тому, что касалось меня самого. У меня больше не было достаточно чувств, чтобы страдать. Мне было достаточно того, что этот внутренний изъян был едва заметен снаружи, точно так же, как физическое бессилие мужчины становится очевидным только в момент близости, и в компании я часто устраивал некое сложное шоу, используя искусственно страстное восхищение и спонтанное преувеличение, чтобы скрыть степень, до которой я знал, что внутри я мертв и бесчувствен. Внешне я продолжал вести свой прежний комфортный, непринужденный образ жизни, не меняя направления; недели, месяцы проходили легко и медленно, мрачно складываясь в годы. Однажды утром, посмотрев в зеркало, я увидел у себя на виске седую прядь и почувствовал, что моя молодость медленно уходит. Но то, что другие называют молодостью, давно закончилось во мне, так что расстаться с ней было не очень больно, так как я недостаточно любил даже свою собственную молодость для этого. Мои непокорные эмоции хранили свое молчание даже для меня.

Эта внутренняя жесткость делала мои дни все более и более похожими, несмотря на все разнообразные занятия и события, которые их наполняли, они выстраивались рядом без акцента, они росли и увядали, как листья дерева. И тот единственный день, который я собираюсь описать для своей собственной пользы, тоже начался совершенно обычным образом, без каких-либо странных пометок, без какого-либо внутреннего предчувствия. В тот день, 7 июня 1913 года, я встал позже обычного из-за подсознательного воскресного чувства, которое сохранилось у меня с детства и школьных лет. Я принял ванну, прочитал газету, погрузился в несколько книг, а затем, привлеченный теплым летним днем, который сострадательно пробрался в мою комнату, я пошел прогуляться. Я пересек Грабен своим обычным способом, поздоровался с друзьями и знакомыми и провел краткие беседы с некоторыми из них, а затем пообедал с друзьями. Я избегал каких-либо встреч во второй половине дня, так как мне особенно нравилось иметь несколько непрерывных часов в воскресенье, которые я мог использовать так, как диктовало мое настроение, мое удовольствие или какое-то спонтанное решение. Когда я оставил своих друзей и пересек Рингштрассе, я почувствовал, как красота солнечного города благотворно влияет на меня, и наслаждался его ранним летним великолепием. Все люди казались веселыми, как будто они были влюблены в воскресную атмосферу оживленной улицы, и многие детали поразили меня, в частности то, как широкие, густые деревья поднимались из середины асфальта, одетые в свою новую зеленую листву. Хотя я ходил этим путем почти ежедневно, я вдруг осознал воскресную толпу, как будто это было чудом, и невольно почувствовал тоску по большому количеству зелени, яркости и цвета. Я с некоторым интересом подумал о Пратере, где поздней весной и ранним летом огромные деревья стоят справа и слева от главной аллеи, по которой едут экипажи,

неподвижные, как огромные зеленые лакеи, когда они поднимают свои белые свечи цветов перед множеством ухоженных и элегантных прохожих. Привыкший сразу потакать самой мимолетной прихоти, я окликнул первое попавшееся такси, и когда таксист спросил, куда я еду, я сказал ему, что в Пратер. “Ах, на скачки, барон, я прав?” он ответил подобострастно, как будто это было само собой разумеющимся. Только тогда я вспомнил, что сегодня была модная гоночная встреча, предварительный просмотр местного дерби, где собралось венское высшее общество. Как странно, подумал я, садясь в такси, всего несколько лет назад, как я мог забыть или не посетить такой день? Когда я подумал о своей забывчивости, я снова ощутил всю жесткость безразличия, жертвой которого я стал, точно так же, как больной человек чувствует свою рану, когда он двигается.

Главная улица была совершенно пуста, когда мы приехали, и скачки, должно быть, начались уже давно, потому что я не видел, как обычно, красивой процессии экипажей; было только несколько кэбов, мчавшихся вперед, стуча копытами, как будто наворачтывая какое-то невидимое упущение. Кучер включил свой ящик и спросил, не следует ли ему заставить лошадей бежать быстрее, но я сказал ему, чтобы они шли медленно, я не возражал против опоздания. Я видел слишком много гонок и слишком часто видел участников скачек, чтобы думать о том, чтобы прибыть вовремя, и когда автомобиль мягко покачивался, он лучше соответствовал моему праздному настроению, чтобы чувствовать синий воздух с мягким шумом, похожим на море, когда вы находитесь на борту корабля, и на досуге, чтобы посмотреть на красивые, широкие и густые каштаны, которые иногда бросали несколько цветочных лепестков в качестве игрушек теплоте, ласковому ветру, который затем мягко поднимал их и кружил в воздухе, прежде чем позволить им упасть, как белые хлопья на землю. авеню. Было приятно вот так раскачиваться, ощущать присутствие весны с закрытыми глазами, чувствовать себя увлеченным и приподнятым без каких-либо усилий вообще. Мне было очень жаль, когда такси подъехало к Фройдену и остановилось у входа. Мне бы хотелось повернуться и позволить мягкому, раннему летнему дню продолжать убаюкивать меня. Но было уже слишком поздно, такси подъезжало к ипподрому. Навстречу мне донесся приглушенный рев. Он отозвался глухим, глухим звуком на дальней стороне ярусов сидений, и хотя я не мог видеть возбужденную толпу, издающую этот сосредоточенный шум, я не мог не думать об Остенде, где, если вы пройдете по маленьким улочкам от низменного города до набережной, вы почувствуете, как над вами дует острый, соленый ветер, и услышите глухой гул, прежде чем вы когда-либо увидите широкое, серое, пенящееся пространство моря с его ревущими волнами. В данный момент, должно быть, происходили скачки, но между мной и полем, по которому, вероятно, скакали лошади, стояла красочная, шумная, плотная масса, раскачивающаяся взад и вперед, как будто сотрясаемая каким-то внутренним смятием: толпа зрителей и игроков. Я не мог видеть трассу, но следил за каждым этапом гонки, поскольку их повышенное возбуждение отражало это. Жокеи, должно быть, стартовали некоторое время назад, сбившийся строй в начале забега поредел, и пара лошадей оспаривала лидерство, потому что уже раздавались крики и возбужденные возгласы людей, которые таинственным образом, как мне казалось, наблюдали за ходом забега, который был невидим для меня. Поворот их голов указывал на изгиб, которого лошади и жокеи, должно быть, только что достигли на длинном овале дерна, потому что вся хаотичная толпа теперь двигала взглядом, как будто вытягивала одну шею, чтобы увидеть что-то вне моего поля зрения, и ее единственное напряженное горло ревело и булькало тысячами хриплых, отдельных звуков, как огромный бурун, пенящийся, когда он поднимается все выше и выше. А волна поднималась и набухала, она уже заполнила все пространство вплоть до голубого равнодушного неба. Я посмотрел на несколько лиц. Они были искажены, словно каким-то внутренним спазмом, их глаза были неподвижны и сверкали, они кусали губы, подбородки жадно выдвигались вперед, ноздри раздувались, как у лошади. Будучи трезвым, я находил их бешеную невоздержанность одновременно комичным и ужасным зрелищем. Рядом со мной на стуле стоял мужчина. Он

был элегантно одет, и у него было, вероятно, красивое лицо, как обычно, но сейчас он бредил, одержимый невидимым демоном, размахивая тростью в воздухе, как будто что-то бросал вперед; все его тело — в манере, невыразимо нелепой для зрителя, — страстно имитировало движение быстрой езды. Он продолжал покачиваться на каблуках вверх и вниз на стуле, как будто стоял в стременах, его правая рука постоянно хлестала воздух, как хлыст для верховой езды, левая рука судорожно сжимала полоску белой карточки. И все больше и больше этих белых полосок порхало вокруг, как игристое вино, разбрызгивающееся над серым и бурным приливом, который так шумно набухал. Несколько лошадей, должно быть, сейчас были очень близко друг к другу на повороте, потому что внезапно крики, разделенные на три или четыре отдельных имени, снова и снова раздавались отдельными группами, как боевые кличи, и крики казались выходом для их безумного состояния одержимости.

<http://tl.rulate.ru/book/65178/1714985>